

Иван Иванович Лажечников

Гримаса моего доктора

«Гримаса моего доктора» — одно из первых произведе-
ний И.И.Лажечникова

Иван Иванович Лажечников
Гримаса моего доктора
Из походной записной
книжки 1813 года

С первым шагом за границу Польши, на нас повеяло новой, радостной жизнью. Не во сне ли видели пожар Москвы и пепелище ее? Не в страшном ли кошмаре полки безобразных мертвецов заступили нам дорогу по снежным пустыням и между лесов дремучих; живые совершали перед нами трапезу лошадиною падалью; обозы с сотнями замороженных человек, увязанных веревками, проходили мимо нас на Вилейку для сожжения. Даже смутно помню — а давно ли это было? — в Вильно вошел я с шефом своим вроде больницы, где оставлены были бежавшей армией раненые всяких наций. На полу сгнившая солома служила им постелью; тут лежали живые, в полной памяти, перемешанные с мертвыми. В этой гряде, среди неприятелей, русский генерал отыскивал своих мекленбургских соотечественников. *Цестный* жид, хозяин дома, представил ему верный, самовернейший *сцотец*, что стоило содержание больных!.. Слава Богу, мы оставили за собою картины человечества на последней ступени унижения, и нечистые корчмы с их нечистыми жидами, и упадание в ноги, и «падам до ног»! Мы пере-

шли в Пруссию. Боже! как радует нас вид образованной земли! Как легко, отрадно здесь сердцу! Взор и мысль нежатся на красивых домиках, на полях, прекрасно обработанных и усаженных плодовыми деревьями, на творении Божьем, которое чувствует свое человеческое достоинство и не влачит его по грязи. Удивляешься, как дерзкая рука прохожего или проезжего давно не поломала этих деревьев для своей минутной потребности, или просто для того, что хотелось поломать. Удивляешься, отчего мосты не пляшут под вами, отчего нет криков, ссоры и драки, когда разводят нам квартиры, нет обвесков и обмеру при выдачах... Отчего, вместо бабы с засученными и засаленными рукавами, босоногой, брюзгливой бабы, которая толкала вас в угарную избу и отдавала на съедение своим бесценным пенатам; отчего, вместо этой мегеры, какая-нибудь милovidная Лотхен или Фрицхен, оторвавшись от своего Лафонтена или Плейеля, с приветом вводит вас в чистую комнату, где находите чистую постель, вкусный обед и — нередко при расставании — тайный поцелуй, который долго будет вам мерещиться во сне и

на яву? И мало ли чему дивимся здесь! Отчего? Отчего? Вопросы мудреные для решения! А чтобы отделаться от них, скажу просто, оттого, что мы перешли за черту Полены.

В Калише сошел я с седла и теперь качу на почтовых в Шверин вслед за отрядом Чернышева, который победе не дает перевести духу. На почтовых, в коляске или в штулвагене!.. Ощущали ли это блаженство вы, не делавшие никогда по пятьсот верст, зимою, на хребте какого-нибудь россинанта!.. Шеф мой, принц мекленбург-шверинский, получил отпуск на родину, и я с несколькими товарищами ему сопутствую. Двадцати лет, беззаботный, ничем не выжидая, смеяюсь равно над кислую рожей и благосклонною улыбкою фортуны, засыпая так же сладко без копейки в кармане как и с полным золота кошельком, я живу весело, весельем ласточки, вылетевшей в первый раз из гнезда своего под лазурь безграничного неба. И на долю моего честолюбия — как бы вы думали! — пали крупницы с высоты. Имя адъютанта des Prinzen von Meklenburg звучит довольно громко в ушах

почтарей, станционных смотрителей и бюргеров и нередко от городского фонтана привлекает к станционному дому рой пригожих немочек. А имя русского? Оно звучит выше всех в наше время; ему народы с восторгом кричат: Носч! Как принимают нас в Пруссии!.. Становишься здесь выше несколькими вершками и с гордостью повторяешь: я русский! Везде привет нам, как братьям; везде благодарность, как избавителям своим. Цветы, огни, триумфальные ворота, серенады, ласки, благословения, — все это встречает и провожает нас по пути нашему. Дня буднего не знаем.

Двор мекленбургский нашли мы в Лудвигслусте. Природа здесь угрюмая, сердитая мачеха — гладь, пески, тощие леса, болота! Как это вздумалось герцогу Лудвигу избрать такие грустные места для своего увеселительного замка! Видно, они вторили его душе. Зато люди, нас окружающие, как будто стараются вознаградить нам скудость природы удовольствиями, какие можно только здесь придумать, и особенно милостивым радушием.

Все члены высокой фамилии, от старого герцога, патриархального старшины своего народа и молодой наследной принцессы {Матери нынешней герцогини Орлеанской, родившейся в январе 1814 года.}, ангела доброты, не говорю уж о детях *нашей* великой княгини Елены Павловны, осыпают нас своими ласками. Даже казаки принцессы не забыты. Житье им здесь раздольное! Старый герцог любит, чтобы в прогулках его верхом по окрестностям, провожал его казак и в каждую прогулку выучивает у него по русскому словцу, за которое платит своему бородатому учителю по червонцу и которым любит после щеголять перед русскими офицерами. На днях в саду, в Еленином павильоне, давали донцам вечер; угощение было роскошное. Весь двор приходил любоваться казацкими танцами с русскою присядкою. Бал увенчался вальсом, к которому милостивые немочки сами ангажировали питомцев Дона. При этом случае были сцены уморительно-смешные.

По некоторым отношениям, для меня только драгоценным, я один из русских помещен в главном дворце. Это сближение с чле-

нами герцогского дома дало повод к происшествию, исполненному глубокого интереса для физиолога и всякого любящего сердца. Невольный двигатель этой драмы, я расскажу ее во всей ее печальной подробности и без малейших сказочных вымыслов.

Март был на дворе. Солнце согрело землю не на радость мою; болота, которыми окрестности изобилуют, начали испаряться, и я, надышавшись вдоволь гнилым воздухом, увидел скоро у изголовья своего неприятную гостью — лихорадку. Разумеется, вслед за нею должен был явиться ко мне врач, и он явился, не раздушенный, не в перстнях и с дорогими булавками, с утонченною речью и манерами придворного, как я ожидал, а во всей простоте и даже со всею наивностью немецкого галертера, который только что покинул свой сельский очаг. Немудрено: ко мне явился не придворный врач (он был болен), а окружной, впрочем, приобретший себе славу искуснейшего не только в Мекленбурге, но и в Пруссии. Мозелю — так звали моего доктора — было лет пятьдесят. С первого взгляда на него, с первых его речей, видно было, что это

не рядовой в бесчисленном легионе бедного человечества. Печать Бога резко означалась на высоком челе, в глазах горел светоч ума и благородства; разговор его, по временам живой и одушевленный, словно нагорный поток, все быстро схватывал и увлекал, что ему ни попадалось, — по временам, сказал я — потому что иногда от него нельзя было добиться слова. Меня особенно привлекала к нему какая-то грусть, преобладавшая в нем над всеми другими чувствами, грусть, которая не исчезала с его лица даже и тогда, когда он улыбался. Скоро закабалил он мое сердце, несмотря на хину с красным вином и красное вино с хиной, которыми он преусердно потчивал меня, несмотря на короткие размолвки наши и целый короб зла, который мне нанесли на него. «Вы судите по его наружности? — говорили мне, — так знайте, под этими цветами кроется змея. Проникните только в его семейство. Там творятся ужасы... Тиран своей дочери! Отец бесчеловечный! Запирает ее в четырех стенах за тридевятью замками. Если и тешит ее чем-нибудь, так это игрушками; и тут цель злодейская — оставить ее в вечном дет-

стве! Старый опекун не ревнивее поступает со своею питомицею, на которую имеет сердечные или корыстные виды. Бедняжка ничего не видит, кроме отца своего, семейства одного бюргера, кормилицы своей, двух служанок и старого садовника. Когда мастеровые приходят исправлять дом, фрейлейн Мозель переводят во флигель; кто чистит двор и сад и убирает их, — она не видит, а между тем это делается будто ей в угождение; проснувшись, и все представляется глазам ее в свежем, обновленном виде, словно феи во всю ночь для нее хлопотали. Добро бы еще запирали ее, кабы она была дурна собою; а то — красавица, в полном смысле художественной красоты, красавица, которою гордился бы любой двор немецкий. Но и маленький мекленбургский двор, к которому она могла бы иметь доступ, как дочь врача, заменяющего иногда придворного, никогда не видал ее. Одним из главных условий ревнивца, при поступлении сюда, было, чтоб оставили его дочь в том обществе, какое он сам ей выберет. Бедная Пери в неволе у духа тьмы, восточное диво — под надзором евнуха, и — наконец, даже... вторая

Беатриче Ченчи...» Чего не наговорят добрые, чувствительные сердца, когда ими движет любовь к человечеству!.. Уши вяли, кровь бунтовала от всех злых вестей, которыми осыпали врача.

Как согласить эти речи с добротою, написанною на лице его? Нельзя же носить так постоянно личину; когда-нибудь да увидел бы природные черты. Нельзя же настроить так искусно свои беседы, свой голос, чтобы в них не отозвалась низкая, бесчестная натура. А я преследовал постоянно его природу, даже в звуках речи, не проговорится ли хоть она ошибкою, и ничего не находил в них, кроме исповеди души благородной. Надо сказать еще, что со мною, иностранцем, прибавьте и простодушным, молодым человеком, он не имел причины так закрываться. Здесь таится что-нибудь *другое*, необыкновенное, — думал я, по врожденной склонности своей к чудесному. Да и сам доктор, фантастическими беседами со мною, утверждал меня более и более в этом заключении. С такою теплою верой говорил он о предметах и явлениях сверхъестественных, как будто посвящен был в их тай-

ны, как будто живал некогда в их мире, откуда принес воспоминания о связях тамошних жильцов с нашею бедною землею. Он был убежден в сродстве и братстве души, в наследстве их качеств, и никакие доводы не могли ослабить в нем этих убеждений. Часто замечал я, что в конце его беседы было всегда что-то недоговоренное, и именно об этом недосказанном очень грустил я, как о конце строфы великого поэта, под которою поставлено было несколько десятков точек. Долго еще после того, как он уходил от меня, в голове и сердце моем роились видения, сладостные, но — неуловимые. Навести в другой раз на окончание таинственной беседы, на разрешение промолвленной задачи, не было возможности. Импровизация не повторялась; сошед с своего треножника, Мозель делался самым обыкновенным, иногда самым тупым собеседником.

Но что более всего расстраивало гармонию его беседы, так это малейший намек на семейные связи. Он всегда неискусно отклонял этот предмет и спешил переходить на другой. При этом случае доброе, привлека-

тельное его лицо делало какую-то судорожно-болезненную гримасу, от которой мне всегда становилось грустно и тяжело. И эти знаки, — твердо верил я, — были еще легким повторением тех движений, которые совершались в его душе. Несмотря на все старание, какое употреблял он, чтобы выйти из этого кризиса, не мог уж он попасть в свою тарелку и спешил уходить от меня.

Удивлялся я также, как он, со своим умом, со своим искусством и славою, решился пойти окружным лекарем в ничтожный городок.

«Тут кроется что-нибудь таинственное, чудесное», — повторял я.

Однажды, в минуты какого-то припадка злости, возбужденной несколькими новыми вестями насчет Мозеля, я нарочно заговорил с ним об его дочери. Это было в первый раз. До сих пор я заводил с ним неуспешно, изда-лече, беседу о семейных отношениях его.

— Уж вам сказали, что у меня дочь! Кто ж там говорил? — спросил он, изменившись в лице и голосом встревоженным.

— Все и всякий, кто вас знает. Что ж тут

удивительного, мой любезнейший доктор? Это все равно, как бы сказали, что у меня сестра!

И желая углубить еще более стрелу в его сердце, продолжал:

— Как скоро выздоровею, вы не откажете меня представить ей...

— Извините... я должен отказать... есть причины... не могу... если хотите, я дал обет... Я уж знаю, что вам, при этом случае, наговорили обо мне... и ревнивец-то я, и злодей, и тиран своей дочери... Да, я таков... Думайте обо мне, что вы хотите... но я... не могу... вы не увидите моей дочери.

Когда же Мозель заметил, что на лице моем изобразилось негодование, он прибавил, взявши меня дружески за руку:

— Не упрекайте меня, молодой человек. Есть домашние тайны, с которых завесу свет не должен приподнимать... Тайна моя составляет мое счастье... не требуйте же, чтобы я нарушил ее. Вы, странник издалече, идите мимо нас; вы у нас минутный гость... вам только из любопытства хочется заглянуть в мой домашний круг, за черту заповеданную, нет ли чего

интересного для вас... нет ли чего, что можно было бы после рассказать у себя, как анекдотец... Кто знает, может статься, на свое удовлетворенное любопытство купите себе горестное воспоминание на всю жизнь свою и прибавите чужому горю...

Потом на прощанье, сияясь улыбнуться, он обратился ко мне со своею любимой поговоркой:

— В небесах и на земле, Горацио, есть тысячи вещей, которых существование никогда и не грезилось вашим мудрецам...

Таинственный ответ, грустный, дружеский звук голоса, с которым он был произнесен, искаженные черты лица — невольно обезоружили меня. С этих пор я уж никогда более не упоминал Мозелю об его дочери. «Может быть, глупенькая... — думал я. — Может быть, какой-нибудь ужасный телесный недостаток... скрытое безобразие... кто знает, преступление!.. Ведь он лекарь, да еще отец! Кому ж лучше знать, как не ему!.. Оставим его в покое с его тайной, тем более что он ею счастлив».

Но... какими-то неисповедимыми судьба-

ми назначено мне было преследовать моего бедного врача за порог его семейной жизни, которую укрывал он так ревниво от глаз света.

— Из Демица, — сказал вошедший ко мне служитель, подавая мне письмо.

«Из Демица? От кого бы?» — подумал я, распечатывая письмо. Когда ж увидел подпись, я обрадовался, как бы получил грамотку из России, от своих. Лиденталь! Милый мой Лиденталь! Тот самый умный, добрый, несравненный ротмистр гусарский, с которым мы познакомились в великой суматохе перед вступлением неприятеля в Москву и который был моим сватом при романическом обручении моем с военной службой; Лиденталь, названный брат мой, брат по сердцу!.. И что ж? Он в горе, болен от раны, полученной под Люденбургом, опять в ту же роковую левую руку, на которой Бородино врезало свой герб. Отосланный своим отрядом в один из прусских госпиталей, он не мог далее ехать и остался в Демице, один посреди чужих, на съеденье какому-то мучителю-фельдшеру с дипломом лекаря, который учился над его ру-

кою, как будто ученик столяр над изломанным стулом. И пилит, и режет, и клеит; ошибся, — снова расклеивай и снова принимайся за работу!

Я еще держал письмо в руках, задумавшись над ним, когда вошел ко мне наследный принц. Он был так внимателен, что пришел наведаться о моем здоровье и пожалеть, что меня давно не видать при дворе. Заметив же письмо в руках моих, спросил, не с родины ли послание. Я объяснил ему, от кого было оно, наши связи с Лиденталем и трудное его положение в Демице. Во время моего объяснения вошел доктор, как будто нарочно посланный судьбою.

— Мы поможем ему, мы пристроим его здесь, — сказал наследный принц. — Раненый русский офицер? Да мы поставим себе за честь и особенное удовольствие быть ему полезным. Кстати... где ж лучше поместить его, как не у искусного врача. Напишите ему с нарочным о нашем распоряжении, а мы немедленно же позаботимся доставить его сюда, как можно покойнее. — Потом, обратясь к доктору, он прибавил с твердостью: — Любез-

ный Мозель, я назначил к вам постой — раненого русского офицера. Завтра доставят его прямо к вам в дом из Демица. Знаю вас и потому уверен, что вы оставите свои маленькие капризы теперь, когда делаются пожертвования и не такого рода для блага своего отечества.

— Воля вашей светлости будет исполнена, — едва мог проговорить Мозель. Губы его и одну щеку подергивало, бледное лицо искажилось. Заметно было, что он не знал, куда ему деваться со своею несчастною фигурой, так был он поражен неожиданной вестью. Наследный принц не заметил, или не хотел заметить его смущения, пожал мне руку и вышел из комнаты.

Несколько странных движений рукою, два-три бестолковых вопроса и несколько ответов невпопад обличали в Мозеле тревожное состояние его души. Бедняк, сам нуждался в помощи лекаря! Грустно, очень грустно мне было играть роль его преследователя. Я спешил, однако ж, помириться с своею совестью, дав себе слово предупредить Лиденталья обо всем, что знал, и уверен был, что он постара-

ется всячески успокоить ревнивца, или Бог знает, что такое он был.

Раненого гусара вскоре доставили в Лудвигслуст, и он поселился на назначенной ему квартире. Посетить его и осмотреть в подробности его жилище я не замешкал. Надо заметить, что весь Лудвигслуст состоит из двух улиц, составляющих две неравные стороны угла: одной главной — смело размахнувшейся в длину, и другой боковой — очень робко сжавшейся. К концу главной улицы примыкает площадь с дворцом и его принадлежностями; на конце боковой стоит домик окружного врача. За ним начинаются песчаные бугры, на которых семьями теснятся друг к другу тощие сосны, как будто для того, чтобы оградить себя от напора песчаных волн, готовых залить их. Далее, болота и болота — настоящая ссылочная земля в царстве природы.

Веселым оазисом казался деревянный домик врача на конце кирпичных домов, нештукатуренных, построенных под один казенный образец, и на грани песков — со своею прихотливой, веселой, кокетливой архи-

тектурой, с двумя флигельями, его красиво и легко окрыляющими, и с садом, где цветов было более, нежели зелени, где каждое дерево просилось под кисть художника и каждый цветок на грудь красавицы. А золотые-то дорожки в саду — бегали, резвились и скрывались в кустах, как своенравный ручей. Людей в доме было очень мало, работники были приходящие, как уж заметили мы, но животные разного рода населяли его, словно Ноев ковчег. В клетках, птичниках и голубятнях птицы пели разнородными голосами, ворковали, свистали, говорили или только красовались своими перьями; в прудах купались лебеди, играли форели и золотые рыбки; в парке резвились олени, и все они знали голос своей госпожи, почти все получали пищу из рук ее. Снаружи и внутри дома сохранялась чистота изумительная. Все в нем было словно с иголочки. Всякий месяц белили, мыли, лощили; малейшее пятно считалось преступлением; когда его замечали, весь дом поднимался на ноги и до тех пор не успокаивался, пока преступление не было смыто. Одежда на служителях согласовалась с чистотою дома; ка-

кой-нибудь щеголь не чище одевался. Я заметил, что на самом хозяине и слугах были цвета все светлые, веселые.

«Ну, — подумал я, — как нарочно дали Мозелю постояльца такого же причудливого, как и сам он. Сочетало же их Провиденье!» Да, и мой Лиденталь простирал любовь к опрятности до мелочного пуризма. Добро бы дома, на оседлой квартире: нет, в походе, на бивуаках, в крестьянской избе, — везде был он верен своему кумиру. Где бы ни назначалась ему квартира, слуги его заранее осматривали все углы, чистили, мыли, скоблили, и тогда только приглашали в нее, когда она приведена была в порядок, им узаконенный. Трубки он не курил, табаку не нюхал. Обыкновенно кроткий и терпеливый, он переносил всякого рода лишения, голод, холод, слякоть, трудности марша; но пятно на белье, рассыпанная табачная зола, сало на подсвечнике, таракан, винный запах от денщика — до того раздражали его, что он на несколько часов делался грустным и сварливым. За то в полку и прозвали его ротмистром-белоручкой. «Мелочный характер!» — думал я сначала.

ла и ошибался. Не знал я в жизни человека более готового на истинные услуги, на жертвы всякого рода для счастья, чести и спокойствия ближнего, на трудные, бескорыстные подвиги. Со временем помирился я с его прихотливой натурой. Сам он говаривал, что, несмотря на усилия победить ее, не мог он с нею сладить. А воля была в нем сильная.

Все шло хорошо; мир в доме не нарушался; постоялец был доволен хозяином, хозяин постояльцем. И могло ли быть иначе, когда один лечил успешно другого, а другой старался всячески угождать ему. Лиденталь, которого я предупредил, что хозяин ревнив, взял тотчас строжайшие меры, чтобы не подать ему малейшего повода к неудовольствию. Из флигеля его была маленькая терраса в сад; он иногда выходил на нее пользоваться воздухом; но лишь только замечал женское платье между дерев, несмотря на сильное желание подсмотреть, по привычке, какое личико ходило в этом платье, тотчас исчезал с террасы, и до тех пор не возвращался на нее, пока не был твердо уверен, что в саду нет никого из женского пола. Строго запрещено бы-

ло денщикам встречаться с барышней и спрашивать о ней у служителей. Сам же Лиденталь, в разговорах с доктором, ни полслова о семействе его, как будто и не знал о существовании дочери. Мозель был заочно благодарен своему жильцу за его внимание и отзывался об нем, как об отличном, редком молодом человеке; но в обращении с ним показывал величайшую осторожность и даже холодность, как бы боясь с ним сблизиться. Во всяком случае, я, нейтральное лицо, оставался довольным, что постоялец, которого навязал моему доктору, не нарушал ничем его спокойствия.

— Какой прекрасный молодой человек ваш приятель! — говорил мне Мозель едва ли не в третий раз. — Жаль только, что он любит опрятность до какой-то крайности.

— Удивляюсь, — отвечал я ему, — вы видите его, в чем сами грешите.

— Правда, правда, — пробормотал он сквозь зубы, и обычная гримаса исказила его лицо.

«Станный, непонятный человек!» — подумал я.

В конце апреля, между пасмурных дней, напоминавших нам родной север, удался один вечер, ясный, теплый, душистый, настоящий праздник для всего, что жило в Лудвигслусте. В этот вечер сидел Лиденталь на террасе, переходя в своих думах из замков родной Лифляндии на балы московские, — на которых, в последнее зимнее посещение белокаменной, была такая блестящая выставка красавиц, — с гигантской фигуры Наполеона на чудного своего хозяина. Мало ли куда западали его думы! Облокотясь на перила террасы, он не видал, что около него происходило.

Вдруг слышит... шорох от женских платьев, для которого ухо молодого человека имеет особенную чуткость... и смех, рассыпчатый смех... Тут оглянулся бы и старый флегматик. Это сделал и Лиденталь, забыв постановление ревнивого доктора и свой обет. Он увидел три женские фигуры, которые, сплетясь руками, проходили по дорожке под его террасой... только что рукой подать... он мог различить, что две крайние фигуры смеялись, но какие были у них лица, не мог заме-

тить... Лиденталь их не видал; а видел он одно лицо, посредине... только одно, больше ничего. Лицо это вздрогнуло и покраснело: это он видел. И так прекрасно, так обаятельно оно было в своем смущении, что мой гусар не имел сил встать и поклониться и сидел, как истукан.

Долго не мог Лиденталь опомниться от своего изумления; но, когда образумился, клятва была произнесена в сердце его — во что бы ни стало увидеть ее еще не один раз и узнать покороче. К черту все предосторожности доктора, вся эта диета сердечная, на которую осудил было молодого, пылкого гусара ревнивый отец.

Хохотуньи были дочери здешнего бюргера, приятельницы Каролины. Как попали три девушки под самую террасу Лиденталева жилища? Как ускользнули они от ревнивого надзора врача и дерзко переступили заповедную грань? О! Это сделалось очень просто. Мозеля не было дома; дочери бюргера, услышав от своей подруги, что у отца ее есть постоялец, хорошенький русский офицер — дюже хорошенький, и этого дозналась пылкость де-

вичьей дипломатики — к тому ж такой чудак, медведь, — только что завидит в саду женское платье и бежит уж опрометью, не оглядываясь, в свою комнату, и там запирается. Вообразите, запирается! Боится, чтобы не вломилась к нему женщина: статочное ли дело!.. Как бы увидеть этого зверька? Какую имеет особенную физиономию, какой северный тип — может быть и снежный? Какой носит мундир? и прочее и прочее. Держали совет, и недолго. Гости были очень милые, умные девушки, не большие резвухи; они схватили свою подругу под руку, увлекли ее в сад, подстерегли дикаря, и шасть мимо него, задав ему своего рода серенаду. Явление их было мимолетное; словно серны, исчезли они в кустах. Как ни преследовал их Лиденталь глазами, их... *ее* уж не стало.

Шутка была забавная... очень забавная, как увидите!..

В этот день выехал я с шефом своим из Лудвигслуста. Мы посетили стрелицкий двор и потом объехали почти все герцогство мекленбург-шверинское путем праздников, иллюминаций, серенад и торжеств разного ро-

да. Особенно в Шверине был нам прием высокаторжественный. Навстречу принцу несколько верст за город выехала делегация граждан; у заставы его ожидали двенадцать, на выбор личиком, в белых платьях, девушек, из которых две, самые хорошенькие, говорили ему речь и стихи; нам они поднесли венки и опутали цветочными вязами... Вскоре приехал в Шверин и весь герцогский дом. Я веселился до головокружения и упаду. Долго еще после того, даже во сне, преследовали меня виваты, звон перекрестных мечей и мотивы бальной музыки. Так прошло две недели.

Не спрашивайте меня, какие наблюдения сделал я над краем. До них ли было, как видите! Но, чтобы вы не упрекнули меня в совершенном недостатке наблюдательности, скажу вам, что я заметил большое довольство в народе, крестьян и крестьяночек, чисто одетых и обутых, лошадей едва ли не с верблюда, вековую упряжь, тучных коров, которых можно бы прямо на выставку, богатые пажити, и не видал, чтобы хоть один нищий протянул нам руку. У въездов в города прибита доска: не глаголет она о том, чего никто не имеет

нужды знать, потому что всякий въезжающий в него знает; не гласит она о числе обывателей, которое никто не хочет видеть. На ней просто четыре слова крупными буквами: «Здесь запрещается просить милостыню». И бедные не жалуются, и не слышно палочных ударов по пятам. Чудный это народ немцы, до чего ухищряются!

Возвратясь в Лудвигслуст, нашел я в доме врача большие перемены. Лиденталь видел Каролину не один раз, говорил с ней не однажды и — при отце. Даже при отце! Хорошо ли я расслышал?.. Не обманывает ли меня слух, может быть немного попороченный громом народных виватов?.. Позвольте, нельзя ли еще повторить? Даже при отце!.. Он, ревнивец, тиран, тот самый Мозель, который от одного только намека на знакомство с его дочерью ужасно тревожился и приходил в судорожное состояние, смотрел, по-видимому, спокойно на отношения молодых людей. Боже мой! Каким чудом совершились эти превращения? Не нашел ли уж мой гусар приговорного зелья или благодетельной волшебницы? Сколько я ни протираю очки своей

проницательности, ничего не мог понять, сообразить и согласиться. Непостижимо, да и только! Не от кого было из домашних узнать ни мне, ни моему гусару о причинах ревности Мозеля и почему он до сих пор так жестоко держал дочь свою в заключении. Может статья, боялся, чтобы выбор Каролины не пал на недостойного, может быть, хотел утвердить ее характер в уединении. Никто не мог отвечать нам на эти вопросы. Все служители в доме старались избегать всякой беседы с нами, или на наши запросы отвечали совершенным неведением того, что было выше их и вне их круга.

Что до Лиденталя, он был влюблен на жизнь и на смерть. Этому я ничуть не удивлялся; иначе и не могло быть. Увидав Каролину, узнав эту прекрасную, милую девушку и зная характер моего друга, я угадывал, что тут затевается не шутка. Лиденталь имел богатое состояние; лишившись давно отца и матери, был независим в выборе себе подруги; прибавьте к этому ум, доброе сердце, благородство и твердость правил, и вы признаетесь, что такой жених был настоящий клад и не

для дочери врача. Женившись, он мог перевести своего тестя в Россию, чего ж лучше, в Дерпт, под сень тамошнего университета. Эти виды не могли, казалось, встретить препятствия. Каролина, со своей стороны, была очень неравнодушна к моему приятелю. Ясно говорили это и глаза, и речи, и малейшие движения, которые так хорошо понимает сердце без переводчика. Этот прекрасный цветок, прозябавший до сих пор в тени, лишь только взглянуло на него солнышко, весь раскрылся, чтобы напиться разом его лучей. Натура нежная, глубокая, восприимчивая, она нашла своего двойника, она вспомнила, как говорил мой доктор, что душа их сочеталась когда-то прежде, и теперь бросилась не с застенчивостью невесты, а с восторгом супруги и любовницы в объятия того, с которым так долго была в разлуке. Испытайте вновь разлучить их — попробуйте разделить плющ, сплетшийся уже несколько десятков лет с другим плющом, и вы только их разорвете. «Чего ж лучше для счастья будущей четы, — думал я, — любовь, гармония характеров, пожалуй, сочетание душ, согласие земных ви-

дов и расчетов, без которых нередко самая пламенная любовь морщится! Дай-то Бог другу моему насладиться всеми благами, которые он так заслуживает!» Но как-то непонятно для меня, всегда при мысли об его благополучии, явилась передо мною, будто нарочно для того, чтобы расстроить это благополучие, несносная гримаса моего доктора.

Я заметил, однако, что влюбленную чету никогда не оставляли одну, без домашних свидетелей; при ней всегда были или отец, или старая кормилица, любившая Каролину, как свою дочь. Если б я сказал, что наседка не так зорко стережет своих птенцов от злого коршуна, я сделал бы неправильное заключение. Нет, не за поступками молодого человека, казалось мне, наблюдали неусыпные соглядатаи, а за речами, за движениями, даже за выражениями глаз Каролины следили они. Упреждать ее малейшие движения, исполнять ее капризы было какой-то строгой, святой обязанностью всех обитателей дома. Доказательства этому я видел каждый день, на каждом шагу. Влюбленный Лиденталь, разумеется, не замечал всего. Однажды, как-то

очень рано поутру, гулял я со своим гусаром по саду; наша беседа, по обыкновению, шла о красоте и душевных достоинствах Каролины. В продолжение прогулки встретили мы садовника, который тщательно подбирал все черные камешки, попадавшие ему на дорожках, ощипывал все листочки на деревьях, принявшие черный или ржавый цвет от непогоды и других причин.

— Зачем ты это делаешь? — спросил я садовника.

— Фрейлин не любит черных листов и черных камешков, — отвечал он, и когда я хотел распространиться насчет ее причудливости, мы не могли ничего более добиться от него, кроме того, что она этого не любит. Я смеялся над прихотями Каролины, даже называл ее своенравной, мелочной; Лиденталь защищал ее орудиями любви и согласия вкусов. Против таких рогатых силлогизмов нельзя было идти.

В другой раз сидели в садовой беседке Каролина, отец ее, гусар и ваш покорнейший слуга. Разговор был оживлен и весел, глаза девушки нередко останавливались с любовью

на моем приятеле. Вдруг ее лицо изменилось, прекрасные глаза, полные очарования любви, сделались мутными, она неподвижно остановила их на песчаной площадке, находившейся перед нами; мне показалось даже, что на губах Каролины мелькнула гримаса, которую я так не любил у доктора.

— Как мучит меня этот камешек! Кто-нибудь нарочно положил его, чтобы меня потерзать. Ради Бога, примите его! — закричала она, но не успела еще закончить свое ребяческое требование, а уж старик, отец ее, как проворный мальчик, стремглав бросился подбирать какой-то черный, гладкий камешек и закинул его далеко в кусты. Исполнив это, он смотрел то с болезненным участием в лицо своей дочери, то со страхом нас озирает. На лице Каролины уже сияла божественная улыбка: она покраснела, взглянула с нежностью на Лиденталья, схватила потом руку отца и прижала к губам своим. Вместе с этим просияло лицо моего доктора. «Ага! — подумал я, — лист-то оборачивается: не отец, а дочка деспот в доме».

Не стану описывать всех фаз любви, на-

раставших в сердце Лиденталья и дочери Мозеля. Скажу только, любовь та дошла до того, что соединить навсегда судьбу свою сделалось для них необходимостью. Он просил у нее позволения говорить об этом отцу; согласие было дано и вместе клятва принадлежать ему, или никому на свете.

Кормилица слышала это решение. Она всегда хорошо была расположена к Лиденталю и старалась это показать, где только могла. Было им замечено, что старушка не раз как будто искала с ним переговорить наедине, но, найдя этот случай, ни о чем не говорила, кроме как о вещах очень обыкновенных. Когда ж Лиденталь ее спрашивал, не имеет ли она чего доверить ему, кормилица всегда отзывалась, что ничего и не думала ему сообщить, что не имеет никакой тайны или чего особенно замечательного ему передать. Ныне ж, с видом таинственным, сама подозвала его к себе и взяв его дружески за руку, вполголоса промолвила:

— Не делайте предложения, добрый господин... Из этого ничего не выйдет... Отец не желает... вам откажут... Моей бедной Кароли-

не суждено оставаться в девках... Послушайте меня, уезжайте поскорей, пока еще время...

— Мне откажут? Я не вижу причины... Каролина меня любит, сам отец ко мне расположен... Но скажи, ради Бога, почему ты, как вещий ворон, пророчишь мне такую невзгуду?

Кормилица не отвечала, пожала плечами, покачала головой, с грустью взглянула на небо, и удалилась. Ничего более он не мог от нее добиться. Ломая себе голову над этой загадкой, Лиденталь готов был разорваться. Тут и не с такой пылкой душой пришел бы в отчаяние. Несмотря на черные предсказания, он решился на другой же день утром просить руки Каролины. Терпеть долее неизвестность своей судьбы было бы жить в нестерпимых мучениях.

Но доктор предупредил его своим посещением.

Едва успел Лиденталь встать с постели, как явился к нему Мозель; немедленно принялся осматривать его руку, объявил, что рана его совсем залечена и он может ехать без опасения куда ему заблагорассудится.

— Благодарю вас, мой почтеннейший доктор, — сказал Лиденталь, — но, к моему удовольствию, я остаюсь здесь в ваших краях. Один из адвокатов принца К. возвращается в свой полк, и его светлости угодно принять меня на его место. Я ваш, как видите, и, признаюсь вам, хотел бы быть вашим навсегда.

При этих словах душевная тревога изобразилась на лице Мозеля.

— Как это случилось?.. — говорил он, — я не подозревал... я всегда полагал, что вы у нас ненадолго... что вам нужно в армию... кампания не кончена...

— Не думал я, чтобы вы так скоро желали моего удаления, — отвечал Лиденталь, в свою очередь очень смущенный. — Кажется, я не подал вам никакой причины...

— Господи! Неужели я это говорил?.. Если вы так поняли, простите меня, я нынче от старости заговариваюсь. Ваши душевные качества привлекают к вам всякого, кто только имел честь вас узнать. Нет причин вас не любить и не желать оставаться с вами долее.

— Думаю, по крайней мере, что со своей стороны я все делал, чтоб этих причин не су-

ществовало. И потому позвольте мне, как человеку военному, который не знает другого языка, кроме языка сердца, как человеку, которому честь дороже всего, открыться без дальнейших околичностей. Я люблю вашу дочь; это чувство не должно было скрываться от отца и я не думал скрывать его: с этим чувством соединяется и надежда составить счастье Каролины. Без того я никогда не осмелился бы посягнуть на объяснение моих намерений не только вам, но и вашей дочери. Не скрою от вас, что она меня любит, что она сама позволила мне просить у вас ее руки. Вчера только я получил это позволение, прошу теперь вашего согласия и с ним моего благополучия, моей жизни. Вы имели время узнать меня. Я богат: мой друг Л. и, если хотите, мой послушной список вас в этом удостоят. Вы переедете к нам в Россию; дом мой будет вашим домом. Угождать вам будет нашей святой обязанностью. Но если вам неуютно будет оставить свои ученые занятия, дерптский университет за честь себе почитет предложить вам кров свой. Получив ваше согласие, я не отложу надолго своего сча-

стья. Брак наш должен быть совершен немедленно. Кампания, по всей вероятности, должна скоро кончиться, а если расчеты в этом случае меня обманывают, если Богу угодно будет, чтобы я пал на поле битвы, вдове русского офицера, умершего с честью, навсегда обеспеченной от житейских нужд, нечем будет упрекнуть себя за перемену своего имени на новое, конечно, не менее благородное. Вот мои виды, мой почтеннейший друг и, если позволите, мой второй отец!

Казалось, на этот красноречивый, убедительный вызов благороднейшего сердца, какое только я знал, Мозель тотчас должен был бы ударить по рукам; радость составить такую выгодную партию для дочери обнаружилась бы немедленно на лице, в речах его. Напротив, Мозель выслушал предложение моего друга, как будто читали ему смертный приговор. Бледный, дрожа всем телом, с лицом, которое обыкновенная его гримаса необыкновенно страшно подергивала, он благодарил Лиденталя за честь, ему сделанную, говорил, что никогда и мыслить не мог о выгоднейшей партии для своей дочери, но что считал все-

гда постояльца своего, русского офицера, мимолетным у них гостем, проезжим странником, с которым такие связи и в голову ему, Мозелю, не могли придти. Дело идет о судьбе его дочери, предложение для него так неожиданно, так внезапно, прибавлял он, что ему нужно время образумиться, и потому просил дня два-три на размышление. До получения же ответа Лиденталь обязан не видеть его дочери.

По истечении двух дней, Лиденталь получил от доктора письмо с уведомлением, что ответ будет передан через меня.

Через меня?.. Что бы это значило?.. Это походило на отказ! Можно вообразить, с какими переменными чувствами то страха, то надежды Лиденталь ожидал решения своей судьбы. Сердце мое раздиралось при свидании с ним, так жалко было его видеть в этом положении и так он наружно переменялся в несколько дней. Раза по три в день приходил он наведываться ко мне, был ли у меня врач и нет ли чего нового. В таком состоянии видел я раз солдата, которого приговорили расстрелять и который все ожидал помилования.

И наконец пришел ко мне врач... О! Зачем приходил он ко мне! Легче бы, когда б эта чаша меня миновала! Зачем не избрал он другого посредника с сердцем более жестоким, более очерствелым в опытах этой бедной жизни? Я еще незнаком был с насмешками судьбы.

Мозель пришел ко мне. Никогда я не видал его таким расстроенным, в таком жалком состоянии. Он дрожал, словно в лихорадке. Все предвещало мне что-то худое.

— Вы больны? — спросил я его.

— Болен душой и телом, друг мой, но если б я умирал и вы не могли бы придти ко мне, кажется, и тогда, собрав последние силы, дотащился бы до вас. Можете ли вы уделить часа два из вашего времени?

Я сказал, что свободен и готов выслушать его. Мы сели; он начал.

— Вы должны выслушать печальную, очень печальную повесть. Первые, хотя невольные виновники ее вторичной завязки, вы должны нести вдвойне горькую обязанность перебрать звено по звену цепь чужих страданий и передать ее таким же образом

вашему другу. Ни одно слово из моей исповеди не должно быть потеряно; горячим свинцом, капля по капле, упадут мои преступления на ваше сердце. Да, молодой человек, вы говорите с преступником, вы вошли в его сообщество, чтобы погубить его. Но я не обвиняю вас: вы только орудие Того, Кому угодно было распорядиться. Будь святая воля Его! Лобызая руку, меня карающую. Теперь — к самой повести.

В 1794 году жил я в Берлине; у гробовой доски роковые числа будут еще резко носиться перед моими глазами. Несмотря на мою молодость, — мне было тогда лет тридцать, — правительство вверило моим заботам и искусству тамошний дом сумасшедших. Заведение приняло вскоре лучший вид, больных стало выздоравливать больше прежнего. Этому улучшению содействовали моя новая метода лечения, усердное служение страждущему человечеству и, если хотите, жажда славы, а потом другое, еще сильнейшее чувство. Труды мои были вознаграждены: я приобрел имя, деньги, похвалы моих соотечественников и внимание правительства. Успехи сдела-

ли меня счастливым и гордым.

Несколько месяцев спустя по принятии моей новой должности, поступила в число несчастных, вверенных моему попечению, одна благородная девушка лет восемнадцати. Ее звали Амалией... Сюда она была перевезена из эльбинского дома сумасшедших. Давно умер отец ее, храбрый офицер, слышавший себе не раз на поле битв похвалу из уст великого Фрица. С добрым сердцем, он перенес из суровой жизни лагерей и походов грубость и жестокость обращения в свое семейство. Капитан строго командовал у себя в доме и хотел, чтобы все в нем ходило в одну ногу и по струнке, как ходят его солдаты. Хотя натуральная трость его и не прогулялась ни разу по спине жены, детей и даже слуг, однако ж, она не однажды была снята со стены и грозила пасть на жертву его гнева. И потому, прежде чем ему скомандовали: марш, марш на вечные квартиры, от него порядочно досталось его домашнему отряду. Амалии со смертью его сделалось не легче. Она осталась лет четырнадцати на руках злой мачехи, имевшей еще несколько собственных детей.

Ей было хуже, чем сироте. Эту хоть сострадание чужих может приютить и приголубить, а тут она должна была жить между своими и оставаться в неволе в таком кругу, из которого ее каждый день вытесняли.

Казалось, Господь богато вознаградил ее за семейные печали красотой необыкновенной, живым умом и добрым сердцем; да, казалось, потому что вместе с этими качествами досталась ей от природы необыкновенная слабость, род помешательства, которой источником была-таки добродетель — любовь к опрятности. Еще с малолетства Амалия простирала эту любовь до странности; она не могла видеть пятна без отвращения, со слезами умаливала уничтожить его, или сама выскабливала, вымывала, вырезала, и до тех пор тревожилась, не могла есть, пить и заснуть, пока не успокаивала своей странной природы. Нечистота наводила на нее какой-то ужас. Она вся дрожала, когда, вместо наказания за какие-нибудь детские проступки, или для исправления порока ее, как называли в доме, надевали на нее черное белье и, если продолжался этот опыт, приходила в такое

болезненное положение, что с ней делались ужасные судороги. С годами развивалась ее красота, с ними усиливалась ее несчастная слабость, которой помогали суровые меры отца, чтобы переломить ее, и раздражали жестокие поступки мачехи. Знание и усердие врачей до сих пор не помогали, может и потому, что их предписаниям нестрого следовали. Надо сказать, что кроме помешательства на одном предмете, которое домашним могло по временам доставлять беспокойство и неприятность, не более, она ничем их не тяготила. Проходили ли ее болезненные припадки, это было существо самое кроткое, самое любящее. Кончилось, однако ж, тем, что мачеха выжила ее из отцовского дома и прямо в дом сумасшедших. Здесь она поняла, где находится, взглянула безнадежным оком в бездну, в которую ее бросили, и сердце ее замерло, голова закружилась. Помешательство ее приняло другой вид, более опасный: она стала уж часто видеть черные пятна там, где их и не было. Слава моя побудила правительство перевести эту несчастную в Берлин и вверить ее моим знаниям и попечениям.

Когда я увидел Амалию в первый раз, дивная ее красота поразила меня. Над чертами лица, тонкими, правильными, если хотите античными, над стройными, роскошными формами ее тела, казалось, резец высокого художника истощил все свое искусство. В черных, огненных глазах ее было целое море блаженства: душа замирала, погружаясь в их глубину. Понимаете ли, как она была хороша, когда я теперь, пятидесятилетний старик, не могу говорить о ней без страстного почитания, не могу описывать ее, не заняв выражений у поэзии юношеской, восторженной любви? Вы знаете мою дочь: это список с высокого оригинала, подобного которому я уже не встречал в своей жизни.

Прежде чем я вошел в номер Амалии — это был, твердо помню, номер двенадцатый — обо мне доложила сиделка; такое внимание уже предупредило ее в мою пользу. Бывало, мужчины входили к ней прямо без доклада. Разумеется, на этот раз и в будущие мои посещения я старался всячески не оскорблять чувства, на котором она была помещена. Увидав меня, Амалия, хотя и преду-

предили ее обо мне, сильно вздрогнула, но это был не трепет испуга, а какое-то приятное изумление.

— Знаете ли, господин доктор, — сказала она мне голосом обворожительным, — я вас где-то видала... мы с вами где-то встречались.

И стараясь припомнить, где она меня видала, Амалия прижала белую, чудесно изваянную руку ко лбу, как бы вытесняя оттуда прошедшее.

— Нет, не припомню, — повторяла она, — а твердо уверена, что мы с вами знакомы. С первого раза душа моя встретила вас, как брата, с которым долго была в разлуке. Не правда ли, такое признание может только сделать сумасшедшая девушка?

Я обратил ее слова в шутку и старался дать нашей беседе тон обыкновенных светских разговоров. Но, подивитесь моему безумию, не сострадание к этой несчастной, не дружба наполнила мою душу, когда я на нее глядел и говорил с нею, а любовь овладела мной, любовь самая страстная, самая безумная, какая могла только существовать.

Я забыл, где нахожусь, в каком состоянии

та, к которой осмелился питать это чувство, я забыл, что она сестра, дочь, дитя мое, которое поручила судьба моим отеческим попечениям; я забыл все, и стал искать взаимной любви этой девушки, как будто она была в полном разуме, не в доме сумасшедших. Я старался вылечить ее, употребляя для этого все свои знания, все свои заботы и усердие, но — понимаете ли, молодой человек, — не для нее, для меня самого!.. Эгоизм, которого весь ужас, всю низость понял я уж поздно! Признаться ли вам, я делал опыты над другими больными; я усердно над ними работал, чтобы счастливейшие из этих опытов употребить над Амалией. Мои ближние, мои страждущие братья служили мне грубой материей, пробными чурбанами, которые я тесал, резал, рубил для того, чтобы воссоздать свой кумир. Видите ли, судьба ошиблась в моем назначении; не лекарем должно бы мне быть...

Первым моим попечением было окружить мою пациентку всеми возможными удобствами жизни, которые могли бы заставить ее забыть, что она в доме сумасшедших. Из главного дома, где неистовые крики напо-

минали ей собственное ее положение, перевели мы ее в бельэтаж флигеля, в котором я сам жил, и поместили в двух светлых, веселых комнатках окнами на юго-восток и в сад, прекрасно меблированных и со всем комфортом, который только позволяли мне мои средства. Мои средства, сказал я, потому что я не довольствовался теми, которые употребляло правительство, а прибавил к ним собственные свои, урезывая от других потребностей жизни. Здесь она была полная госпожа, малейшее ее желание исполнялось с точностью и усердием, заплаченными мной щедро заранее. Да и две сиделки ее, находившиеся при ней под именем служанок, не только из корыстных видов, но из сострадания или особенного сердечного участия, старались всячески ей угождать. Самые капризы ее во время болезненных припадков терпели они от нее, как от человека им близкого, родственного. Цветы, картины, книги окружали ее; музыка, в которой я некогда был искусен, услаждала ее слух и не менее сердце. Но, признаюсь, в выборе этих предметов все-таки преобладала любовь; я старался даже сюжеты картин и му-

зыкальных произведений оцветить, напитать этим чувством. Признаюсь также в своей ревности: никто, кроме меня, не играл для нее, никто из мужчин ее не посещал. Мудрено ли, что я достиг своей цели? Сирота, одинокая в мире, брошенная родными в дом сумасшедших, видя меня, молодого человека приятной наружности, каждый день, иногда раза по два, по три, окруженная моими нежными заботами, моим уважением и пламенной любовью, которую Амалия не могла не заметить, она сама, с нежной организацией, с добрым сердцем, с душой пылкой, почувствовала ко мне любовь. Ей делалось скучно, грустно, когда она меня не видала; она подстерегала мой приход, и если я не приходил в обыкновенные часы, начинались ее капризы, помешательство искало себе пищи, придиралось к малейшей безделице. Находило ли облачко на небо, оно для нее все было в черных пятнах, точки в книге расплывались в пятна, собственные ее глаза в зеркале казались ей двумя мутными, несносными пятнами.

Вы видите, однако ж, что помешательство не проходило. Что ж сделали мои заботы,

мое искусство? Очень мало для нее. Припадки ее безумия, правда, становились реже, слабее; им нужна уж была причина, они рождались от сопротивления и раздражения. Прежде Амалия отыскивала везде, во всем черные пятна и терзалась ими; теперь только, найдя их, беспокоилась, но скоро одумывалась, или видела их, как я уже сказал, во время долгой разлуки со мной, в грустные часы своего одиночества. А эта разлука продолжалась не более нескольких часов, это одиночество было лишь тогда, когда меня с нею не было. Да, помешательство ее приняло надежный вид, но все еще не проходило.

А я, я сам, безумец, был счастлив, упоенный ее любовью. Как она любила меня! Одно слово мое, одно мое появление прогоняло облако печали с ее лица, исчезали капризы, разум делался яснее. Когда мне докладывали, что без меня были с ней припадки безумия, я даже не верил этому, а видел в словах сиделок только грубость, близорукость чувств, не постигающих тайн сердечных: так любовь преобразовывала ее при мне. Со мной Амалия была существо разумно-любящее. Эта Галатея

только мной, только в моем присутствии одушевлялась. Не думайте, однако ж, чтобы стыдливость не боролась в ней с любовью. Нередко происходила эта борьба; нередко, в лучшие ее минуты, рассудок и даже сознание своего болезненного состояния говорили ей, что она недостойна меня, что связать судьбу свою с моей было бы сделать меня несчастным: недаром же она находилась в доме сумасшедших! Но привязанность ко мне все превозмогала и усиливалась день ото дня. Мудрено ли? Во мне видела она своего покровителя, врача, друга, родного, все свое настоящее и будущее; во мне одном заключала все благо своей жизни: от одной мысли потерять это все сердце ее леденело. Так передавала она мне впоследствии, в часы душевных излиятий, свои отношения ко мне. Слова подтверждались поступками. Как покорное дитя, Амалия вся вверилась мне. Иногда говорила она мне такие задушевные речи, которые и светской разумнице не изобрести; то забавляла меня, как резвое дитя, то давала мне поцеловать свою белую ручку, то дарила меня чудными прогулками по саду, вдвоем, в летние

ночи, упитанные благоуханием цветов, растворенные негой теплоты и таинственного молчания, когда вся природа, кажется, нарочно собрав чары свои, навевает их на все ваше существо, когда не остается уже в этом существе места для мысли, а переполнено оно одним чувством. И во мне происходила иногда борьба с самим собой. «Одумайся, кого ты любишь, — говорил мне рассудок. — Уверен ли, что несчастная девушка совершенно вылечится? Какие у тебя виды на нее? Настоящие успехи моего лечения — заметьте, моего лечения! — ручаются за будущее, — говорило сердце. — Она может быть только здорова и счастлива при мне, со мной. Провидение верило мне ее, мне ли ее покинуть? Мне ли обмануть доверенность Провидения?.. Я не могу жить без нее, она без меня. А брак?.. Разве не может он соединить все интересы нашей жизни?.. Кому ж лучше ухаживать за несчастной, как не мужу? Посвящу ей все свои познания, всю жизнь свою; а посвятить себя служению несчастью разве не добродетель? А возвратить миру разумное существо — разве не подвиг?.. Да, брак все покроет: и немилости к

ней судьбы, и несправедливость родных, и соблазн нашей любви, и пересуды злых людей!

Брак с сумасшедшей?.. А какие дети могут произойти от этого союза?.. Боже! Я, врач, об этом даже и не думал.

Видите ли, воротиться было поздно, сердцу было невозможно.

Я упомянул вам о пересудах людских. Да, в доме, у соседей, в городе говорили, что я влюблен в сумасшедшую, что я забываю для нее своих больных, ее одну вижу, ею одной занимаюсь; говорили даже, что она — моя любовница!.. Сумасшедшие... О! Иногда и до них доходят такие тайны, которые и людям в полном уме не скоро достаются — Даже сумасшедшие, вспоминая об отсутствии Амалии из двенадцатого номера, который никто после нее не занимал, говорили, что докторская пташечка давно переведена в другую клетку.

Кажется, по этому безрассудному пути далее нельзя сделать шагу...

Я сделал этот шаг!.. Помню и теперь адский хохот сумасшедших, какого я никогда не слыхивал, слившись в один ужасный хор, прилетел к нам, чтобы приветствовать мое

преступление. Вижу негодование на вашем лице. Да, молодой человек, вы не посягнули бы на такое злодеяние — я посягнул!.. Не говорил ли я вам, что судьба ошиблась в моем назначении, что мне не врачом должно бы быть, а разбойником, грабителем на больших дорогах?.. Вы содрогаетесь, вы плачете... Не говорил ли я вам, что вы на свое любопытство купите себе горькое воспоминание на всю вашу жизнь? Теперь ваше любопытство удовлетворено; вы имеете в запасе интересный анекдотец; можете рассказать его в своей России... Да поверят ли еще там ему?..

Доктор перестал. Не видно было на лице его обычной гримасы; правда, я ничего не видел — я плакал и только слышал, как возле меня кто-то рыдал, как ребенок.

Через несколько минут он снова начал.

Теперь брак был неминуем. Но, чтобы приготовить к нему других, я не мог не прибегнуть к обману; донес начальству, что Амалия совершенно здорова и может выйти из своего заключения; пастор, который должен был нас венчать, получил такое же свидетельство. Вскоре соединили мы навсегда на-

ши судьбы в храме Божиим. Во время священного обряда, как я боялся, чтобы моя невеста не изменила мне словом или знаком! Так и случилось. Едва получили благословение, Амалия побледнела, вскрикнула и бросилась на грудь мою. Пастор сказал мне вполголоса, но грозно: „Вы меня обманули... Помните, вы хотели обмануть Бога“. Эти слова и теперь звучат в моих ушах. Сделалась суматоха в церкви, все спешили узнать причину этого крика; я с трудом успокоил новобрачную и с помощью друзей своих увлек ее в карету. Здесь она пришла в себя. Всю эту невзгоду произвел черный пластырь на глазу у одного из зрителей церемонии. Друзья выдумали для толпы другую причину, из которой за несколько дней выросло огромное романтическое приключение. Между тем в городе славили мое искусство; женщины приписывали излечение Амалии могуществу любви; врачи и люди холодные, рассудительные, пожимали плечами или бранили меня. Как бы то ни случилось, девица из двенадцатого номера дома умалишенных была моей женой.

Не стану рассказывать вам подробностей

моей жизни с Амалией. Это была непрерывная цепь высоких страданий и высокого блаженства. Год прошел таким образом. По окончании его, жена подарила меня дочерью. Боясь, чтобы с молоком матери дитя не всосало в себя ее помешательства, я приготовил кормилицу, но Амалия непременно хотела сама кормить дочь свою. Можете судить о моих муках, сердце мое рвалось с двух сторон на части. Как открыть матери, почему я не желаю, чтобы она кормила дитя свое? Как опять решиться предать это бедное, невинное творение в жертву ужасной болезни и погубить его на всю жизнь? Не мог же я с первых дней отнять несчастное дитя от груди матери! Знаю, это убило бы Амалию. Через несколько дней, однако ж, я объявил ей, что молоко ее по таким и таким-то признакам должно быть нездорово для малютки, в котором я будто заметил уж болезненные припадки. В это время наша Каролина, румяная, свежая, как райское яблочко, лежала на руках у матери и так сладко ей улыбалась. После такого свидетельства, моим словам не поверили. В другой раз, страшась за будущность малютки, я решился

дать ей тайком лекарство... средство, которое назовите как вам угодно... оно послужило многим видам... дитя сделалось нездорово, побледнело, начало стонать. Стоны эти раздирали душу Амалии. Я напомнил ей о нездоровости ее молока; она испугалась за свою дочь и для ее спасения поспешила пожертвовать своими лучшими радостями, своим счастьем. Передав дитя кормилице, она стала сильно задумываться... Вскоре молоко бросилось ей в голову. Поставьте себя на мое место: вообразите себе, если можете, что я тогда чувствовал. Через несколько суток я уже орошал слезами могилу моей бедной Амалии.

Дитя наше росло... И что ж? Все мои предосторожности не помогли... Вы видели мою Каролину... но вы еще не знаете ее... Так знайте же, так расскажите же вашему другу — она сумасшедшая!

— Ваша дочь!.. Не может быть! — перебил я доктора, вскочив со стула. — Ваша дочь, та самая, которую я видел несколько раз, с которой я несколько раз беседовал... милая, умная, образованная?.. Не может быть! Неправда!

— О! Если бы я мог сказать тоже самое, жизнью своей пожертвовал бы за это благо, готов бы купить его рабством, бесчестьем, публичной пощечиной... Довольно ли для вас?.. Хотите доказательств, испытаний?.. Нет, нет, у вас доброе сердце, вы не потребуете их. Надо быть или злодеем, или отцом, чтобы смотреть добровольно на подобное страдание. Раз вы сами были свидетелем небольшой вспышки, помните... в саду, в восточной беседке, когда Каролина увидела черный камешек на песке?

— Да, помню... теперь помню... — сказал я.

— Это были только самые легкие из ее страданий... Но выслушайте продолжение моей повести; вы с вашим другом сами докончите ее.

Дитя мое росло со всеми признаками болезни, которой страдала Амалия. Несчастное наследство было верно передано дочери от матери; в этом случае опека природы честно и усердно исполнила свои обязанности. Правда, в Каролине нет такого сильного помешательства, как у матери: она не изобретает

причин, чтобы пугать ими свое воображение, не видит противного в своей природе там, где его нет. Но все-таки необыкновенная страсть к опрятности переходит в ней за пределы рассудка. Темные и особенно мелкие, рябые предметы, нечистота, чернильное пятно, черный и, заметьте, одинокий камешек, все, что возмущало и сокрушало мать, пугает и печалит дочь, приводит ее в содрогание. Не раз, к утешению моему замечал я в ней сознание своей слабости, которую называет она пороком; не однажды слышал я от нее желание исправиться. Тогда просит она меня помочь ей напоминанием, советами, даже строгостью, говорит, как хотела бы утешить меня исправлением. Но при малейшем опыте, она вся дрожит и умоляет не продолжать его, или, если сможет сохранить довольно рассудка и силы, чтобы пересилить свой страх и уныние, делается больной, иногда, опасно больной. После таких болезненных опытов, возмущающих жизнь Каролины, я решил лишь угождать ей. Хочу забыть, что она помещана; вижу в ней только избалованное, капризное дитя — мое дело утешить ее всякими

игрушками, какие могу достать или изобре-
сти. Это кумир, на служение которому я по-
святил всю свою жизнь, — божество свое-
нравное, которого малейшие желания обязан
исполнить. В этом служении все радости мо-
ей жизни, все мое благо. Так сердце определи-
ло мои отношения к больной дочери. Для ко-
го ж пошел я окружным лекарем в ничтож-
ный уединенный городок? Разве не нашел бы
я богатой жатвы для своей практики в одной
из столиц Германии? Для чего ж бы эта изыс-
канная, изумляющая чистота в моем доме, ко-
торую сторожим день и ночь я сам, пятидеся-
тилетний старик, и все, кем могу распола-
гать? Для чего эти тысячи цветов, в лабирин-
те которых вы теряетесь, эти рои крылатых
певцов и красавцев, населяющих мой дом и
сад; эти золотистые и красноперые рыбки, иг-
рающие в прудах, ручные олени, покорные
закону и воле одной своей госпожи, все иг-
рушки, которые стоят мне так дорого и погло-
щают завтра все, что я ныне добыл своими
трудами? Для чего же все это, если не для спо-
койствия и забавы моей бедной дочери? Ко-
гда вы будете иметь детей, вспомните меня:

вы узнаете тогда, как они дороги отцу. Прибавьте еще, у нее нет матери, она больна — и какой болезнью! Положите еще на весы моего сердца ужасное преступление, которое было виной всех моих несчастий.

Здесь я живу третий год. Этот городок, забитый в глушь болот и тощих лесов, оживляемый только на короткое время, когда двор сюда приезжает, избрал я, после многих неудачных переселений с места на место, пристанищем от людного, большого света. Там мою Каролину нельзя не заметить; там найдет она поклонников своей красоте, может отдать избраннику свое сердце, погибнуть сама и погубить другого; в глуши я сберегу этот бедный, заповедный цветок. С такими мыслями приехал я сюда. Здесь устроил я для своей Каролины маленький земной эдем — по крайней мере так воображал. В его ограду до вас с Лиденталем не входил ни один мужчина, исключая старого садовника; дочь моя не знает другого общества, кроме жены одного здешнего торговца, которая немного посвящена в мои тайны, и дочерей ее. На могиле Амалии я дал обет, что Каролина никогда не будет заму-

жем. Не погубить же ее, как я погубил мать! Не подарить же свету несколько поколений сумасшедших!.. Но чтобы вернее исполнить задуманное, чтобы уберечь свое дитя от людских страданий, которое иногда тяжелее самой злобы, я принял на грудь свою все стрелы клеветы; я сам нарочно с помощью одного друга и через служителей своих распускал слухи, что я величайший ревнивец, неутомный мучитель своей дочери, запираю ее в четырех стенах, берегу ее денно и нощно от глаз мужчин — и, щедрый на такие отзывы, свет спешил размножать и увеличивать их. Что мне до того? Не дочь мою бранят! Легче мне, старику, слыть негодным, злым человеком, чем слышать, как мое бедное дитя стали бы величать сумасшедшей, как ее оскорбляли бы сожалением и, кто знает, может быть, насмешками! Может статься, какому-нибудь важному лицу вздумалось бы для своей потехи испытывать ее в сумасшествии и забавляться ею, как фигляр, который искусно выделяет свои штуки; может какой-нибудь добрый человек дал бы ей самой заметить, что она — сумасшедшая!.. Она этого до сих

пор не знает... Что стало бы тогда с нею!

Так я жил здесь до вашего появления, счастливый, что покоил и забавлял свое капризное, избалованное дитя. Простите отцу, если я скажу: вы пришли нарушить это счастье. Когда вы заговорили в первый раз о моей дочери, и тогда уж злое предчувствие, как червь, припало к моему сердцу и начало подтачивать его спокойствие. Я стал бояться чего-то, сам не зная чего, даже и тогда, когда уверился, что вы нас не посетите. Судьбе было угодно оправдать мое предчувствие: она вскоре послала в мой дом вашего друга. Одинаковые в нем с моею дочерью склонности поразили и испугали меня; сродство душ было явно: я уверен был, что она не полюбит никогда человека противных свойств. Но Лиденталь, узнав, вероятно, от вас о моей ревности, был так благороден, что не захотел оскорбить меня желанием познакомиться с Каролиной: поведение его служителей строго согласовалось с его отношениями ко мне. Я успокоился. Русский офицер скоро выздоровеет, — думал я, усердно заботясь о его излечении, — он уедет, и гроза, напугавшая меня, пройдет. Бо-

гу было угодно иначе. Шутка двух вострушек, дочерей моей приятельницы, уничтожила разом заботы многих лет, все мои виды, все надежды, опрокинула вверх дном мое семейное благополучие... Я этого достоин; но Каролина, которая только тем и виновата, что она дочь моя, зачем она несет со мной все бремя моих несчастий!

Скоро заметил я взаимную любовь молодых людей; но и тут успокаивал себя мыслью, что русский офицер у нас недолго прогостит и отправится скоро в армию. Разлука и время придут на помощь ко мне, — думал я, — и прежнее наше спокойное житье к нам возвратится, препятствия же, какие бы я теперь ни придумал, могут только раздуть страсть и нанести Каролине одни огорчения. Провидению было угодно и эти расчеты, сильные по моему мнению, уничтожить в одно мгновение. Лиденталь остается у нас, Лиденталь просил руки моей дочери. Ее руки?.. Боже! С этим словом встало передо мной все мое ужасное прошлое с моим преступлением во всей его черноте, я услышал над собой хохот сумасшедших, осязал холодный меч, которым

рассек союз матери с дочерью; передо мной встала из гроба моя Амалия, простирая руки к младенцу, оторванному от ее груди; в сердце моем гремели слова: „Вспомни свой обет — не погуби дочери, как ты меня погубил!..“ Посетил меня и пастор, венчавший нас, и сказал мне: „Если можешь, обмани опять Бога!“

Нет, воля ваша, я не отдам свое дитя на поругание судьбы, я не пожертвую им чувству, которое погубило мать ее. Нет, вы не похитите мое дитя: у вас обоих с вашим другом незлое сердце. Вспомните, в ней все мое благо, моя совесть, будущность на том свете. Подумайте, какие радости может сумасшедшая обещать своему мужу? Не будет ли союз с ней повторением моего безрассудства? Нет, вы не отнимете у меня моей дочери, не оторвете ее от моей груди! Если хотите, я паду к вашим ногам, облобызаю ваши руки, оболью их слезами, буду молить вас именем вашего отца, вашей матери, всем, что только есть для вас дорогого и святого в мире».

И Мозель в самом деле был у моих ног, тянул к себе мою руку, чтобы ее поцеловать...

Я поднял его, старался успокоить и ру-

чался ему за благородство и твердость моего друга. Мы принялись сочинять план, как устроить общую их судьбу. Составив самый благоразумный, какой могли только придумать бедный отец и совершенно растерянный неопытный молодой человек, расстроенный повестью всех этих несчастий, в которых сам был невольно таким усердным вкладчиком, мы расстались. Доктор мой казался утешенным.

Что за дивную повесть слышал я!.. Господи! Господи! Какими молниеносными знаками выжег ты печать своего гнева на этих несчастных! Каким земным отвержением заклеил Ты два чудных создания, одаренных Тобой красотой нездешней же!

И до сих пор не могу образумиться от всего, что я слышал.

Вечером я был на придворном бале, и мне все представлялись между танцующими помешанные красавицы, и жаркий, исступленный поцелуй при хохоте сумасшедшей братии, отчаянная мать, от груди которой отрывают дитя ее, и отец, рыдающий у ног моих, молящий за свою больную дочь. На балу

был и Лиденталь, смущенный, грустный... Он еще ничего не знал; я отложил свой рассказ до завтрашнего дня. Тут же был и доктор мой: он не мог не быть: ему сделали честь пригласить его... Увидав меня, Мозель подал мне руку и силился выделывать улыбку, но вместо улыбки выходила судорожно-болезненная гримаса, от которой у меня всегда так ныло сердце.

На другой день, приготовив, как сумел, Лиденталя, я передал ему свою чудную повесть. Он сначала вышел из себя, не хотел ей верить, говорил, что вся она выдумана ревнивым доктором, которому жаль расстаться со своей дочерью, что если Каролина подвержена слабости, конечно странной, но общей с слабостью, его, Лиденталя, так следственно и его можно причислить к сумасшедшим. Таким образом наберутся сотни сумасшедших, которые теперь свободно гуляют по белому свету, служат, трудятся и наслаждаются жизнью и которых надо будет, по методу Мозеля, запереть в дом умалишенных.

Приятельница Мозеля, вдова здешнего бюргера, пришла на помощь ко мне и под-

твердила моему бедному другу все, что знала насчет болезни молодой девушки. Несмотря на все эти уверения, Лиденталь требовал доказательств, хотел сам, своими глазами, все увидеть... Но вскоре образумился... Благородство его души взяло верх над страстью. Он решил лучше сам страдать, чем видеть страдания Каролины, и согласился на подвиг. Да, иначе не назову его высокого поступка, его самопожертвования. Вместе с тем он поклялся доктору честью русского офицера, что ни одна женщина не назовется его супругой, кроме Каролины Мозель.

Объявлено Каролине, что отец согласен на брак ее с Лиденталем, но, по случаю военного времени, должен отсрочить свершение этого союза до водворения мира в Германии. В тайном же нашем совете было решено: Лиденталю навсегда отказаться от руки Каролины, через несколько дней отправиться в армию, до того же времени притвориться счастливым женихом, в таких отношениях вести переписку с мнимой невестой, а остальное предоставить Богу. Все сделано было, чтобы обмануть сердце бедной девушки и окружить

ее всеми радостями, всем очарованием счастливой любви. Что должен был перечувствовать друг мой, вынужденный играть роль счастливицы, между тем как муки безнадежной любви и известность, что любимая им женщина никогда не может ему принадлежать, что она сумасшедшая, терзали его сердце на части. Дорого стоило ему это лицедейство. Удар, потрясший все его существо, усилия, которые он над собой сделал, подействовали на его грудь, и без того слабую... Он стал сильно и опасно покашливать, еще не покинув тех мест, где заключалось все, что знал в жизни прекраснейшего и что только в этой жизни было дорого для него. Бедный Мозель радовался за свою дочь, но страдал за молодого человека, который так великодушно принес себя в жертву ее благополучию... Благополучию? По крайней мере, мы так думали!

Каролина, со своей стороны, была счастлива. Единственное, что ее огорчало, так это разлука с женихом: но ее утешали надежды скорого мира и, следовательно, скорого свидания.

— Приезжай скорей, скорей, милый

друг! — говорила она, прижимая руку Лиденталя к своему сердцу. — Господь справедлив. Он сохранит тебя от опасностей. Он скоро возвратит тебя моей любви. Здесь каждый час, каждую минуту буду произносить молитву о твоём здоровье, о нашем свидании. Ты не будешь далеко от меня; твой образ всегда будет перед моими глазами; окружу его всеми ласками, какие только знаю, какие только могу придумать, пока в разлуке с тобой. Выучу для тебя много русских нежных слов; выучу русскую песню, которую ты сладко напевал мне не однажды и перевел для меня. А там — поедем в твою Россию... Она будет и моей, потому что ты в ней будешь со мной. У тебя нет ближних родных, и зачем тебе они! Я заменю тебе мать, сестру, родню своей дружбой, любовью, ласками. Не правда ли?

Слезы готовы были брызнуть из глаз Лиденталя; но он глотал их и сам также рассказывал о будущем своём блаженстве.

Дня за два до отъезда Лиденталя, приятельница Мозеля, вдова лудвигслудстского бюргера, добрая, может быть и слишком добрая, и до сих пор осторожная, вздумала

сгрустнуть о молодом человеке, который так сильно любил Каролину и, по своим достоинствам, мог бы составить счастье этой девушки, если бы она излечилась от помешательства. Вследствие грустного расположения духа, она решилась испытать, не совершит ли любовь чуда. К этому испытанию приступила немедленно, при первой отлучке доктора из дома. Видам посредницы помог и случай: Каролина только что рассталась со своим женихом и погружена была в восторги счастливой любви и приятнейших надежд.

— Дочь моя, — сказала ей добрая посредница, — ты невеста, выбранный твоим сердцем молодой человек, по своим душевным качествам, богатству и положению в свете, мог бы всегда составить себе отличную партию. Не говорю, чтобы ты не была его достойна: ты богата красотой, умом и добрым сердцем, а это самые драгоценные сокровища для мужа, но, скажу тебе откровенно, ты имеешь худшую привычку, тягостную для всех тебя окружающих. Черные пятна, малейшая неопрятность приводят тебя в какое-то замешательство и даже страх; иногда от этих, ни-

чего незначущих причин, гнев портит твое хорошенькое личико. Как же избежать предметов, ненавистных тебе, когда ты будешь замужем за военным человеком? Вот, например, если бы он вздумал при тебе писать письмо и неосторожно капнул чернилами на бумагу...

Каролина вздрогнула, посредница, заметив это, все-таки продолжала:

— Сколько неприятностей и тягости наделает твоя странная привычка человеку любимому! Нынче и завтра эти неприятности — могут последовать ропот, ссоры и, наконец, Боже сохрани, холодность!

— Холодность? Нет, лучше смерть! — сказала Каролина, слушавшая речь посредницы с жадным вниманием, не без примеси страха.

— Так исправься. Возьми себе на помощь рассудок... подумай, что такое пятно... какое зло может оно тебе сделать?..

— Исправлюсь, милая мамахен, непременно исправлюсь... И вот, чтобы доказать вам, как ваши советы мне по душе, как я люблю его, начну первый урок при вас.

Каролина позвонила.

— Чернильницу! — сказала она с веселым видом вошедшей служанке.

Та стояла, как вкопанная, выпучив глаза, не понимая, какое чудо совершилось с ее молодой госпожой. Каролина повторила свое требование. Но где достать чернильницу? Одна и была только в доме, да и та запиралась на замок в кабинете, за порог которого никто, кроме самого доктора, не смел перешагнуть.

— Принеси от нас, — сказала вдова.

Чернильница принесена. Несчастливая девушка побледнела, как будто принесли для нее орудия пытки, но старалась быть веселее.

— Вот вы увидите, — говорила она, взявши перо и обмакнув его в чернильницу.

— Довольно на этот раз; в другой урок, милый друг, ты пойдешь далее, — сказала посредница, испуганная отчаянным видом Каролины, и хотела вырвать перо из рук ее; но та не отдала его.

— Нет, — продолжала несчастная, вся дрожа, между тем как исступление горело в глазах ее, и начала ронять чернильные пятна по своему платью, сначала редко, потом учащая их. — Нет, я хочу доказать, что может мое

сердце... Вот пятно... еще... еще... Из любви к нему буду носить это платье... Что мне сделают все эти уроды? Не боюсь вас!.. Множьтесь, растите, осыпайте меня целыми роями... жальте меня... ничего не боюсь... моя сила не от земли — от любви к нему... Я чиста, как первый снег... Не замарать вам всей одежды моей души... ее моют мои братья... не здешние... Во имя друга, за мной победа!

И несчастная, казалось, бичевала себя, неистово осыпая свое платье чернильными пятнами. Наконец она изнемогла и без чувств упала на руки испуганной, истерзанной посредницы.

Какую же пользу принесло это испытание? Ровно никакой. Оно доставило только бедной страдальице сильный нервный припадок, вдове бюргера — размолвку с врачом и служанке — изгнание из дома. С того времени не было более помину об испытаниях: отец и врач знал лучше свою пациентку.

До нас с Лиденталем дошло это происшествие на другой же день и еще сильнее расправило сердечные раны его.

Наконец Каролина и Лиденталь расста-

лись с надеждами: одна — скорого брачного поцелуя, другой — свидания не на земле.

Затем все в доме пошло по-прежнему. По-прежнему во владениях Мозеля наблюдалась изумительная чистота, птицы вили гнезда, пели и щеголяли своими перьями, лебеди купались в водах, олени ели из рук своей молодой госпожи; по-прежнему цветы, словно густые рои мотыльков, слетевшиеся со всех концов света и павшие на сад Мозеля, красовались и благоухали. Но флигель был пуст; молодая, прекрасная хозяйка чаще задумывалась, щеки ее начало поводить, тайная скорбь, видимо, день за днем обирала из ее прелестей; чаще стала появляться на худом лице доктора несносная его гримаса.

Гром орудий из-под Лютцена дал нам весть о новой схватке *наших* с Наполеоном, не утомившим еще своего гения и восторженной любви к нему французских солдат. Мы, русские, должны были явиться на этот зов. Я простился с новыми друзьями своими. Каролина просила меня сказать многое своему жениху; между тем, молила о свидании, хотя на один час. «Скажите ему, что я долго не выдер-

жу разлуки», — говорила она, протянув мне свою белую ручку, и отвернулась, чтобы не показать слез, струившихся по ее бледным щекам. Доктор ничего не говорил, прощаясь со мной, но молча, крепко-крепко прижал меня к своему сердцу.

С этого времени я потерял их из виду.

В августе, именно накануне кульмского дела, послан я был начальством в главную квартиру, в Альтенбург. Дождь без устали целый день осыпал меня, как из мелкого решета, и промочил насквозь; взбираясь несколько верст по одной из гейерсбергских гор, я принужден был держаться за холку лошади: так крута была гора (а между тем по ней проходила наша артиллерия), — и плелся большей частью шагом; к тому же у сердца моего сидела грызунья-мысль, что меня, молодого человека, еще мало окуренного порохом, судьба отзывает вновь от главной сцены военных действий. «Товарищи мои, — думал я, — получают разные знаки отличия, а мне не придется ли опять блеснуть своими подвигами на мекленбургских паркетах!..» Все это вместе навело на душу мою тяжкое уныние,

от которого, с прибавкой тысячей разнородных лиц и мундиров, мелькавших мимо меня в дождевом тумане, как в водовороте, главная квартира на этот раз показалась мне каким-то омутом, в который я брошен злым гением. Между тем дела делались в ней так скоро и точно, как в конторе самого исправного банкира. Поучиться бы тут нашим судейским!.. В несколько минут доложили бумагу, с которой я был послан, написали ответ и вручили мне.

Смеркалось уже на дворе, небо еще более насупилось и обещало волчью ночь; но рассуждать о погоде было некогда. Я облек себя плащом, который от мокроты весил с добрый богатырский панцирь, и уладился было на седле, проникнутом водой, как губка... В эту самую минуту слышу, кто-то окликает вашим благородием. Взглянул — подле меня, запыхавшись, стоял наш дивизионный писарь, причисленный на время к канцелярии главной квартиры.

— Что ты, Наливкин? — спросил я.

Лицо его радостно сияло; он держал в руке печатный листок.

— Ваше благородие приказывали мне...
если будут вести...

В лице его, в голосе ясно выразилось: будет богатая водка!.. «Верно, хочет обрадовать меня свеженьким известием о наградах на дивизию нашу, — думал я, — приеду к своим радостным вестником!»

Писарь поднес печатный листок к глазам моим и толстым, налитым эссенцией жизни, пальцем указал на строку, широко подчеркнутую чернилами, чтобы я не миновал ее глазами... Так было велико его усердие услужить мне!

— Вижу, вижу, злодей, — сказал я и прочел: *Исключается из списков умерший от ран... ротмистр Лиденталь.*

— Чтобы у тебя отсохла рука! — проворчал я в сердцах, впился шпорами в своего Молдавана и погрузился во мрак, как будто бросаясь в пропасть. Я не слышал дождя, ехал по горам, как по глади, не чувствовал боли, когда хлестали меня сучья по лицу и сделал несколько миль крюку.

Да, нечего сказать, радостная весть!..

Перекидываемый судьбой, как мячик, то

в армию кронпринца шведского, то в Берлин, то опять в Мекленбург, я очутился проездом в Лудвигслусте. Как нарочно, надо было мне ехать мимо дома лекаря. Не знаю отчего, я боялся на него взглянуть; однако ж невольно взглянул... Окна были наглухо забиты; ворота, настежь растворенные, ходили туда и сюда по воле ветра. Тут я не выдержал... велел почтальону остановиться, выскочил из коляски и с какой-то робостью детского суеверия, которое боится в пустых комнатах встретить домового, заглянул на двор и в сад. Нигде ни одной живой души; везде нечистота, сор и грязь; изломанные и разбросанные грудями стулья, в птичниках мяуканье кошек, ни одного цветка, поломанные и порубленные деревья — везде безобразие и сокрушение, как будто жестокий ураган только что прошел по этим местам свинцовой стопой. Когда я выходил со двора, ветер распахнул ставню у одного окна... петли жалобно завывали... и мне показалось, сквозь стекло кивнула мне на мертвом лице доктора судорожно-болезненная его гримаса.

Я не спрашивал более никого, что ста-

лось с Мозелем и его дочерью.